

Ф.И. ХРЯЩЕВ, Н.П. ХРЯЩЕВА

Уральский государственный педагогический университет

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»

В статье исследуется антропологическая инверсия как основополагающий принцип построения художественного образа в романе «Чевенгур». Рассматривается специфика авторского взгляда на историю. Анализируется функциональный смысл мотивов Сиротства, Дома, Горизонта.

В метафизическом вопросе одного из платоновских героев, обращенном к бранящимся родителям маленького ребенка: «Отчего вы не чувствуете сущности?» — невольно угадывается проекция авторского вопрошания по отношению ко всему, живущему на Земле. В область сущего у Платонова попадает все, означенное «непреложностью всеобщей гибельной» судьбы. Однако именно на этих «смертных» путях художник пробует найти исход для человека и человечества в целом.

В романе «Чевенгур», по-прежнему озадачивающем глубиной и тревожащем воображение, поиски ведутся посредством решения некоей сверхзадачи, связанной с попыткой человечества выйти к эволюционно новому витку развития, что означает открытие принципиально иных способов связи человека с Миром и ее разновидности — человека с человеком. Открытие же совершается на путях детальнейшего взглядывания в конкретного человека, ищущего смысл существования.

Роман, вырастающий в грандиозную Утопию экзистенции¹, одновременно поражает скрупулезной историчностью. Но и подход к истории определен решением основного бытийственного вопроса. Как простому человеку, впервые в мире обретшему возможность творчества новых форм социальной жизни, осуществить чаемый Идеал мироустройства. Ведь коммунизм ожил в душах простых людей не как идея, а как искомый на протяжении многих веков смысл бытия, который нужно явить, сделать данностью своего существования. Иными словами, «доделанный коммунизм» Платонова есть осуществляемый на глазах читателя процесс творения народом истины существования как себя-сотворение. Революция и явленный ею коммунизм увидены Платоновым как возможность строительства нового бытийственного фундамента, что и определило его подход к истории.

¹ Об экзистенциализме А. Платонова см.: Семенова С.Г. Сердечный мыслитель // Вопросы философии. 1989. № 3; Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Платонова) // Семиотика и информатика. Вып. 30. М., 1990.

Художника интересует не только и не столько человек в истории, сколько история в человеке: человек в качестве ведущей онтологической данности. Роман удивляет сюжетно-событийной «ослабленностью»: уместнее говорить не о происходящих в нем событиях, а о разворачивающихся состояниях. Хронотопически-событийный континуум, проявляющий индивидуально-личностное в историческом, как бы ступшевывается, отходит на второй план ввиду своей новой роли: отобразить целостность человека в его эволюционной значимости.

Через историческое как форму существования Платонов выстраивает «парадигму» человека: варианты развития его духовности. Предельно актуализуя историческое в этой новой роли, художник намечает возможность выхода из конечного Ничто всякой экзистенции путем антропологического (или) онтологического преобразования².

Историческое в результате выступает оборотной, вывернутой во вне, в Большой космос стороной человеческого духа, Малого космоса. А это и позволяет понять, почему в центре художественного видения Платонова не столько события и люди в их реальном участии в конкретно-исторической процессуальности, сколько работа их сознания, напряжение их духа, сопровождающее каждое их действие³.

Но под работой сознания платоновских героев необходимо понимать не рефлексирующее движение ясной мысли, склонной к уподоблению всего и вся внутреннему субъективному видению, но процесс прямо противоположный: напряженное «вчувствование» в мир с целью «подслушать его внутреннее устройство». Потому-то художник так широк, точен и многогранен в изображении горизонтального плана, т.е. «материала» истории, что, изображая его, Платонов выявляет тем самым внутреннюю данность человека, «материал» его внутреннего устройства. И именно это позволяет ему отразить «план вертикальный», представленный синтезом двух осей: исторической эволюции и духовного становления. Целостность человека проявлена в «Чевенгуре» равноположенностью и гармонией его «горизонтального» и «вер-

² С.Г. Семенова отмечает: «Онтология... в экзистенциалистской традиции понимается как онтология человека, т.е. как философская антропология. ... Антропологический принцип в экзистенциализме понимается как исследование феномена человека через отдельное человеческое существование, его экзистенцию». – *Семенова С.Г.* Преодоление трагедии. М., 1989. С. 170.

³ Это свойство художественного мышления писателя уже было отмечено исследованиями: В. Свительский указывает, что Платонова «в первую очередь интересует не столько реальная социальная практика поступков и судеб, сколько сопутствующая им деятельность сознания» – *Свительский В.А.* Андрей Платонов вчера и сегодня. Воронеж, 1998. С.55; В. Скобелев замечает, что Платонов «обращает внимание в своих героях на то, как они думают, как осуществляется у них каждодневная работа духа, его самовоспроизведение в поисках настоящего дела, в поисках истины, в построении концепций и систем». – *Скобелев В.П.* Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. Воронеж, 1975. С. 288.

тикального» компонентов: горизонтально оформленное стяжение знания о мире и человеке неизбежно определяет вертикаль понимания мира и человека в качестве фундаментальности, чреватой новым витком развития.

Вглядимся в семантику соприсутствия данных планов в тексте. Смысловой ритм романа задается встречами / разлуками «чевенгурского Вергилия» — Захара Павловича с сиротством. «Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной открывшейся в груди совести; он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами» (30)⁴. «Горе и сиротство», пережитые героем как личная трагедия, увиделись им законом всеобщего неблагополучия бытия. Не случайно «открывшаяся в груди совесть» названа «неизвестной»: до этой встречи она была «закрыта» верой в помощь машин. Довершает «перемену» сознания Захара Павловича вторая встреча с сиротством, проявляющая истинное положение человека в мире.

«На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку...

— Дядь, дай копейку, — сказал он, — или докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак...

— Уморился небось? — спросил Захар Павлович.

— Ну да, уморился... Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Бре-пешь-брепешь, аж есть захочешь. Пятак подал, а самому, должно, жалко. Я б ни за что не дал. <...>

Захар Павлович отдал Прошке полтинник...

— Ты бы мне картуз отдал! — сказал Прошка. ...

Захар Павлович отдал фуражку. <...>

— Намедни я Сашку в городе встретил, — проговорил Прошка. — Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел... Ты, небось, мамке его подкинул — теперь давай денег за Сашку! — кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи, — ответил Захар Павлович.

— А что дашь? — заранее спросил Прошка.

— Получка будет — рублевку дам» (58-61).

Прошка деловито и артистично вымогает у Захара Павловича все, что с того можно взять/снять, и не только в настоящем: «пятак», «полтинник», «картуз», но и в будущем: «рублевку» (с ближайшей получки). При этом Захар Павлович почти радостно расстается со своим добром, как бы чувствуя его (добра) малость по сравнению с тем, что у этого мальчика незаконно отнято «круговой несправедливостью бытия». Старого человека потрясает ум и энергия ребенка в решении почти невероятной для его раннего возраста задачи: во что бы то ни стало остаться в бытии, уцелеть в нем телесно-физически и обеспечить такую возможность для своей семьи: «Вдруг мать с ребятишками пришла — чего тогда им есть?» (58).

⁴ Платонов А. Чевенгур / Сост., вступ. ст., коммент. Е.А. Яблокова. М., 1991. Далее ссылки даются на это издание с указанием страниц в скобках.

Во всей непреложности герою открылась истина человеческого существования: «...Беззащитная, одинокая жизнь людей, живущих голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин» (62). Нравственное зрение героя подвергается основательной перефокусировке. Всю пестроту и иерархичность существования отныне Захар Павлович будет оценивать лишь в отношении к его непрерываемому центру — человеку. «Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешком по железной дороге — по ней ездили другие... Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах» (61). И снова: «Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой» (61).

Эта картина прорастает в сознании героя как бы в согласии с законом «обратной перспективы»: удаляясь во времени: «утром второго дня», «на третий день...», она яснее в сознании, высветляется запечатленной в ней истинностью бытийственных пропорций:

$$\frac{\text{мелкое тело}}{\text{(в окружении) улегшейся огромной природы}};$$

$$\frac{\text{маленькое, худое тело}}{\text{(среди) крупной, будто обвалившейся природы}};$$

$$\frac{\text{мосты, рельсы, паровозы / (как и) деревья, ветры, пески}}{\text{вид природы на чужих земельных наделах}}.$$

Человек в окружении безучастного к нему Мира, как природного, так и технически продолженного, созданного его умным сердцем, но безнадежно от него отчужденного, живет «голым», т.е. «одиноким» и «беззащитным».

Однако истолковывать «голое» существование лишь с позиций бытовой недостачи: отсутствия одежды, крова, семьи — было бы глубоко ошибочно, ибо она есть лишь сопутствующие признаки гораздо более важного неблагополучия: бытийственной «необеспеченности» человека.

Взгляд на мир с позиций такого рода «необеспеченности», сущностным выражением которой является сиротство, и оказывается тем основанием, на котором вырастает художественное «здание» «Чевен-

гура». Сиротство у Платонова не столько частный случай, результат стечения горестных обстоятельств, а сущностное состояние всех, живущих на земле людей, о чем говорит частотность употребления данного понятия в тексте:

«Наверно, умер первым (Саша Дванов) в эти голодные годы, как круглый сирота» (29);

«Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами...» (43);

«Пашинцев почувствовал в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда» (153);

«Вот оно — сырье для социализма, — изучал Дванов страну, — ни одного сооружения, только тоска природы — сироты» (159);

«Чепурный ... вспоминал одни забвенные бесполезные события..., то сидела девочка-сиротка на канаве и ела купыри; но, когда эта девочка, ... была встречена в жизни — теперь навеки неизвестно» (215);

«круглая пожилая сирота» (387).

Именно с и р о т с т в о являет собой истинное положение человека во Вселенной, означает его онтологический статус. Будучи носителем основных качеств существования, оно обретает в тексте переломное значение, оказываясь водоразделом между бытностью / обусловленностью / обеспеченностью и бытийственностью / оторванностью / необеспеченностью, вместе с одеждой и кровом сбрасывающими с человека всю его искусственную мнимую защищенность и открывающими подлинную картину его отношений с Миром.

Платоновский сирота, отмежеванный от всех бытных связей: дом, семья, родственные отношения, необходимый человеку вещный круг — пребывает в абсолютной бытийственности. Он потому и «голый», что ему доступен лишь один вид родственной связи: человек — человек, и как частное проявление этой связи: человек — человек. Осознание себя-в-Мире как себя-Сироты, являющееся, по сути, уразумением своего места на путях космической эволюции и становится тем качественно новым фундаментом, на котором прорастает для человечества возможность поисков нового развития, закономерно порождающего / открывающего принципиально иной способ существования во Вселенной. И весь веер поисков смысла существования разноликими платоновскими героями в границах и формах конкретной истории, и соответствующие этим поискам круги инициаций, проявляющие их (поисков) метаисторический смысл — все, что определило иерархически многослойное построение «Чевенгура» — подчинено перспективе открытия этого способа.

Мы остановимся на судьбах двух братьев Прокофия и Александра Двановых. Их поиски «всеобщего коренного улучшения» художест-

венно воплощены в сюжете строительства героями истинного Д о м а. Дом, будучи одним из главных модусов экзистенции в художественном мире А. Платонова в целом, в «Чевенгуре» выступает в своей отчетливо онтологической функции. Родительский дом в качестве одного из проявлений «парадигмы» Дома для мальчика Прошки являет собой второе — после материнской утробы — защищенное и защищающее пространство. Его сознание формируется под воздействием постоянной угрозы потерять дом как продолжение Матери. Мать для героя иерархически более значима и потому более любима, чем отец. Он ведь, по представлению мальчика, «тоже от моей матери родился — из пуза». Происхождение отца и сына от одной матери, подчеркнутое сходством их имен, оба Прошки, проявляет глубинный смысл цикличности, как исчерпывающего принципа данного существования: все рождающееся обречено на смерть. Сын лишь «повторяет» уходящего отца. Защищая родительский дом, он вводит категорию разума и расчета по отношению ко всему тому, что может истончить, уменьшить, рассеять материально-телесное вещество дома, как единственную зону, обеспечивающую ему возможность быть. Руководство этими категориями заставляет Прошку дисквалифицировать отца как Хозяина дома: «Лежень» — с тем, чтобы взять его функции на себя: «Мне бы отцом-то быть, а тебе Прошкой...» (47). Небезынтересно заметить, что на присвоении чужих «полномочий» — от отцовских до божеских — выстроены все действия Прошки.

Как «лишний рот», т.е. не рожденный матерью и потому не составляющий «вещества» дома, изгоняется Прошкой Саша Дванов.

«Прошка... увидел, что сирота сам себе руками роет могилу...

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. <...>

— Я землянку вырою и жить тут буду, — сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да — безо всего. Купырей легом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи, — успокоился Прошка. А к нам побираться не ходи: нечего подавать» (45).

Для детского ума Прошки смерти, как человеческого горя, не существует, с чем и связан мучающий его вопрос: «...дети выходят из мамино живота, ...но тогда откуда сироты?» (45). Смерть для него даже и не ритуальное действие, а что-то вроде его «негатива»: Саша и могилу роет себе сам и ляжет, по мнению своего сводного брата, в нее «так», т.е. как есть, «без гроба». Поэтому для Прошки нет различия в том, умрет ли Саша, или будет жить «купырями», лишь бы не объедал их дома, не истончал вещества семейственности. Но и лишившись дома, впад в круглое сиротство и нищенствование, Прошка не становится сиротой сущностно. Напротив, повзрослев, он лишь утверждает в

своих первоначальных догадках о механизме людского сообщества. Так, не только смерть Саши, а и «горе русских деревень» есть для него «не мука, а обычай», и отец с сыном связаны, по его мнению, не тоской друг о друге, «не чувством, а имуществом» (325). Именно «имуществом» мысль и лежит в основе построений Прокофия Дванова. На язык мерно-вещных отношений герой переводит и все духовные категории. Отсюда следует «счастье круглые сутки», с которым не управится история. Гораздо разумнее, по мнению героя, «постепенно уменьшить человека»: он «притерпится» к любому страданию (326). Самую подходящую форму «уменьшения» человека Прокофий находит в «организации»: «Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация — умнейшее дело: все себя знают, а никто не имеет... При организации можно много лишнего от человека отнять» (326). Герой не только коллекционер имущества. Он мечтает стать собирателем жизненного пространства. Его истинное «дело» — укорачивание, усечение глубины и полноты человеческого существования. Но осознать недолжность своего занятия герой не может, как не понимает и отказа Саши участвовать в его «предприятии».

Чем же обусловлено данное мировоззрение? Мир Прокофия характерен не-присутствием в нем Другого человека. Он населен только им Одним. (Клавдоша Клобзд — объектна. Она есть его отражение). В Прокофии Дванове означает себя фундаментальная человеческая закономерность: человек-животное.

Какова же форма данной «парадигмы» человека как некоей экзистенции? Герой являет собой исконные человеческие свойства: он есть минимально возможная поверхность тела для сохранения тепла, комок жизни, обтянутый кожей, максимум жизни в минимуме материи, эндогенный: изнутри — вовне идущий поток жизни. Функция Прошки — противостояние иным — чужим и чуждым ему существованиям; противление им, защита, отмежевание от них.

Как человеческая закономерность он есть человек сворачивающий и сворачивающийся; его принцип существования — к о н в е р г е н ц и я: приведение всех жизненных токов к одному исходу. Однако этот принцип кардинально отличен от синтеза: перед нами скорее врожденное стяжательство; «человек-животное» есть сжатый кулак. Этот модус существования определяет все, совершаемое Прошкой: герой изгоняет из отчего дома Сашу, как не рожденного Матерью, «лжет и вымазывает», собирая для этого же дома пропитание-милостыню; списывает на исходе Чевенгура «все мертвые вещи города в свою преждевременную собственность» (390).

Прошка конвергирует все вокруг себя, кроме других людей, и постоянно отталкивает их от круга своего воздействия: «забывает нуждаться в людях и собирает имущество вместо товарищей» (390).

Отчего так происходит? Почему Прошка объективно обречен на такого рода забывчивость? Другой человек есть активное начало; открытое, незаконченное, амбивалентное «пространство»; некое зияние, которое нарушает упорядоченный процесс мира-вокруг-себя-объединения. Включаясь в круг воздействия субъекта, другой человек делает собою брешь, оттягивая через нее часть влияния и, следовательно, вещества конвергенции. Иными словами, Прошка не может включить другого в круг своего стяжания, т.к. сам рискует попасть в его такой же круг, Другой человек не есть объект.

В отличие от Прошки Саша изначально лишен дома как оплота кровно-родственной семейственности. Такого дома у героя не было и при живом отце: рыбак с сыном живут на берегу озера Мутево. Более того, Саша не помнит свою мать: «Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей» (28).

Смерть отца и круглое сиротство Саши не результат случайного стечения обстоятельств, а следствие осознанного выбора рыбака. Влекущая его тайна смерти есть некий вечный вопрос, разрешаемый человечеством — всеми умершими и сейчас живущими поколениями, но мало продвинувшимися на этом пути. Отец Дванова включается в разрешение этой тайны в качестве ускорительного звена и умирает «сдуру» для всех людей, включая и Захара Павловича, но отнюдь не для самого Саши. Отец навсегда останется для сына живым и живущим на дне озера Мутево, как в «другой губернии». Вот финальные строки романа: «Он (Саша) оглядел все неизменное, смолкшее озеро и насторожился — ведь отец еще остался — его кости, его жившее вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, — вся родина жизни и дружелюбия. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына» (397).

Отец нашел в сыне продолжение своей уверенности в возможность превращения / трансцендирования смерти в пространство жизни, посредством — как это ни парадоксально звучит — обеспечения ему круглого сиротства как единственно необходимого основания для рождения новых связей с Вселенной, которые позволили бы преодолеть Смерть.

Эти связи художественно реализуют себя в границах строительства Нового Дома, к сооружению которого Саша приступает сразу же, после исхода из Старого, олицетворением которого является в романе «кишащая мелкими людьми» хата Прохора Абрамовича Дванова.

«— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его. Саша решил ... он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить...» (43).

«Умру к тебе» — не существующая в русской грамматике валентность, есть сигнал не бывшей еще бытийственной связи. Смерть мыслится не чем-то окончательным, все оборвавшим, а напротив — лишь начинанием существенно нового: «Он радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит...» (43).

Саша — фигура антропологически инверсная: Я и Мир для него — одно, существующее в разных ипостасях; тело мира есть тело отца: «дождь, пахнувший его потом»; есть тело Саши: роет могилу для отождествления с мертвым отцом: есть тело палки: оставляет ее вместо себя отцу и т.д.

Откуда эта потребность воссоединения? Что она значит? В нормальном подсознании в качестве архетипа заложена идея цикла, циклического преобразования, развития и его завершения, т.е. Я — плод мира, откуда произошел, туда и уйду. Дванов же изначально есть Мир, но мир не полный. Он живет жизнью любой вещи, кроме мертвой вещи: мертвой не в плане мертвого вещества, ибо все есть мертвое вещество, а в плане зазеркалья жизни, запредельного, чего не дано знать. Дванов может быть всем, кроме мертвого Дванова. Этим «страдал» и его отец. Это и есть логическое завершение онтологически (или антропологически) инверсного человека, выраженного образом «тесного неразлучного места», т.е. преодоленной могилы.

В Саше «парадигма» человека сменяется на прямо противоположную. Он скорее способен разворачиваться. Но свойство это столь неестественно для биологической сущности человека, что процесс разворачивания скорее воспринимается как вы-ворачивание; отсюда и антропологическая инверсия! Это жизнь — вовне, жизнь за пределами себя. Так (или похоже) живет дерево, таким является «огромный человек, идущий по краю горизонта». Основополагающий принцип Саши — д и в е р г е н ц и я, т.е. способность устанавливать связи с многими другими жизненными токами и продолжаться в них. «Он до теплотворности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе» (72). Более того, Саша не только живет личными жизнями, неся в себе сразу много судеб, но и жизнью всего живого на земле. «Он (Саша) существовал одними ежедневными людьми — тем

же Копенкиным, Гопнером, Пашинцевым, прочими, но постоянно тревожась, что в одно утро они скроются куда-нибудь или умрут постепенно. Дванов наклонился, сорвал былинку и оглядел ее робкое тело: можно и ее беречь, когда никого не останется». (391).

Наиболее отчетливо антропологическая антиномичность героев обнаруживает себя в понимании ими категории Дома:

Прокофий избрал себе жилищем кирпичный большевистский дом, где прежде все жили и ночевали, не расставаясь. Теперь там был порядок, женское Клавдюшино убранство, и уже топила через день печка для сухости воздуха. На потолке жили мухи, комнату окружали прочные стены, хранившие семейную тишину Прокофия, и пол был вымыт, как под воскресенье. Прокофий любил отдыхать на кровати и видеть пешее движение мух по теплomu потолку, так же бродили мухи в его деревенском детстве по потолку хаты отца и матери, и он лежал, успокаивался и придумывал идеи добычи средств для дальнейшей жизни и скрепления своего семейства. Ныне он привел Дванова, чтобы попить его чаем с вареньем и накормить Клавдюшиными пышками.

— Видишь, Саш, мух на потолке, — указал Прокофий. — В нашей хате тоже жили мухи, ты помнишь или уже упустил из виду?

— Помню, — ответил Александр. — Я помню еще больше птиц на небе, они летали по небу, как мухи под потолком, и теперь они летают над Чевенгуром, как над комнатой.

— Ну да: ты ведь жил на озере, а не в хате, кроме неба тебе не было покрытия, тебе птица вроде родной мухи была. <...> Утром Александр показал Прокофию птиц над Чевенгуром, летавших в низком воздухе. Прокофий их заметил, они походили на быстроходных мух в утренней горнице природы... (387).

Прошка, культивируя Старый дом, добивается в финале его репродуцирования: тепло, уют, жена, пышки, варенье..., мухи на потолке, как в отцовской хате. Саша же, редуцируя «утробное» свойство дома, расширяет его до размеров Вселенной, возмечтав увидеть небо потолком дома для всего человечества, где птицы летают так же, как курсировали мухи в «горнице» Прохора Абрамовича Дванова.

Что же дало свершиться процессу антропологической инверсии? Что дало человеку развернуться — вывернуться? Процесс свертывания человека жестко контролируется его сознанием, как процесс, обеспечивающий существование. Но сознание обусловлено чем? У людей — подсознанием. У Дванова подсознание заменено на чистую самость, сверхсознание.

Что же это такое? Ответить на этот вопрос позволит образ г о р и з о н т а⁵. По частоте употребления в тексте он приближается к образу сиротства:

⁵ Отмечая принцип зеркальной симметрии в качестве структурной основы художественного мира «Чевенгура», Е. А. Яблоков указывает при этом на особую роль образа горизонта: «Горизонт ... участвует в структурировании вертикальной симметрии, а в

«Шел он (Захар Павлович) сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что за той чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угодьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие» (31);

«На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля — были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным» (44);

— Вы помните ее (идею книги)? — попытался вождь. — Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта. <...>

— Вы там глядели на человека как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот, и вышло для чтения хорошо (106);

«Как конец миру, вставал дальний, тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека» (192);

«Вечернее небо виднелось продолжением степи — и конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт как на страшную участь своих усталых ног» (192);

«Была ли дорога под конем или нет — не видно, лишь край земли засвещел светом. И Пролетарская Сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца» (197);

«Из-за перелома степи, на урезе неба и земли, показались телеги и поехали поперек взора Копенкина, увозя на себе маленьких деревенских людей мимо облаков» (200); «Он (Гопнер) слушал молву реки и думал о мирной жизни, о счастье за горизонтом земли, куда плывут реки, а его не берут...» (235).

Путь по направлению к горизонту, стремление приблизиться к нему — это едва ли не единственный вектор целенаправленного движения, выделяющийся в «Чевенгуре» среди хаоса всеобщего перемещения. Человек видит горизонт и определяет его, но не может пред-ставить и тем более пред-видеть. Движение к горизонту есть движение к самому себе. Горизонт есть трансцендирование вглубь себя. Это есть край, отъединяющий предельное от за-предельного, зона трансцендентального, того, что еще дано человеку в его самосознании.

Что же есть пространство за горизонтом, зона человеческого не-видения? В горизонт впадают нити извне; пространство за горизонтом, область непостижимого, есть мертвая громада «прошлого человечества», из глубин веков по кирпичикам «складывающегося» каждого нового человека и протягивающего к каждому пути сообщения с громадами начал каждой клеточки человеческой души. Закономерно,

горизонтальной плоскости имеет традиционное культурное значение недостижимого рубежа». — Яблоков Е.А. Принцип художественного мышления А. Платонова «И так, и обратно» в романе «Чевенгур» // Филологические записки. Вып. 13. Воронеж, 1999. С. 16-17. Он же. «И обратно» как эстетический принцип (история страны — история романа) // Яблоков Е.А. На берегу неба. Роман А. Платонова «Чевенгур». СПб., 2001. С. 7-32.

что все основные герои «Чевенгура» тоскуют об умерших. Как же все это происходит у Саши Дванова? Обратимся к одному из самых таинственных «мест» «Чевенгура»:

«Дванов опустил голову, его сознание уменьшалось от однообразного движения по ровному месту. И то, что Дванов ощущал сейчас как свое сердце, было постоянно содрогающейся плотиной от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимал участия в человеке, а лишь подремывал в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства — вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питающего, но и тормозящего его сознание, и мог быть счастливым» (158).

Подсознание есть горизонт сознания. Данный пример отчетливо показывает, что даже в состоянии включенного сознания не прекращается работа подсознания. Оно как бы «выбывает» из своих пределов, вторгаясь в область сознания, не прерывает ни на мгновение связей с ним. Саша же наделяется способностью «видеть оба пространства»: и подсознание, и сознание. Но это не просто «двунаправленное» зрение, а его новое качество. Саша научился видеть сквозь туман бессознательного, не разгоняя его, или стал «повелителем» «оборотной стороны», «прибрав к рукам» темноту «иррационального» и организовав ее в сферу своего влияния. Этот способ видения и определяет качественную сторону нового принципа существования: «И постепенно вставал перед Двановым его детский день, не в глубине заросших лет, а в глубине тела» (137). «Детский день» — явление, относящееся в норме к категории памяти в ее подсознательном оформлении и отражении, — у Дванова выступает как нечто насущное, существующее и в этот момент, и как часть тела Дванова, вне всякой зависимости от подсознания.

Подведем некоторые итоги. Воссозданием мира в «Чевенгуре» А. Платонова руководят три начала. Первое связано с всесторонним проникновением в социально-историческую жизнь России, взятую в строго антропологическом аспекте: история в человеческом существовании; второе — с интроспекцией, взглядом изнутри состояний, явлений, предметов; третье — с созданием новых мифов художественного миротворения.

Именно революцию Платонов увидел качественно новой эпохой, предельно активизировавшей народный дух в возможности осуществить «всеобщее коренное улучшение». Справедливое Жизнеустройство он видит только в перспективе Мирустройства как созидания бессмертного зона бытия. Поэтому социально-политическая утопия 1917

года «мерцает» в «Чевенгуре» мистерией об антропологически инверсном человеке, т.е. человеке, преодолевшем Смерть. Если социальная утопия, развернутая в качестве политической программы, обращившаяся «сбоем» строя народной жизни и, в конечном счете, трагической результативностью, то «авторская» утопия, проявившая сиротство истинным основанием человеческого существования, конструирует возможность преодоления цикличности, т.е. сотворения бессмертного принципа бытия.

«Чевенгурский» коммунизм в этом плане такое же «душевное состояние», как и переживание бытия персонажами Природного и Машинного образов действительности. Смерть преодолевается главным героем «Чевенгура» изнутри своего духовного «состава», т.е. посредством преодоления барьера, отделяющего предельное от запредельного. Отождествив себя с запредельным, Саша Дванов обретает тем самым возможность сотворения «Нового света», что проявлено попыткой строительства им Нового Дома, первый этап которого — отождествление себя с отцом; второй — самоотождествление с Чевенгуром как прообразом Новой Вселенной.

© Хрящев Ф.И., Хрящева Н.П., 2002.